

ВЛАДИМИР
РЫНКЕВИЧ

Семеновская ЗАСТАВА

ВЛАДИМИР
РЫНКЕВИЧ

Семеновская ЗАСТАВА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1986

Рынкевич В. П.

Р 95 Семеновская застава: Роман.— М.: Советский писатель, 1986.— 400 с.

Своеобразная композиция романа, соединяющая различные исторические эпохи, начиная со времен Петра I и кончая битвой за Москву в 1941 году, позволяет показать ряд важнейших событий, происходивших на восточной окраине Москвы, за Яузой. Через судьбы персонажей представителей древнего рода Ростиславлевых, солдата петровских времен Беганова, их потомков — рабочих, интеллигентов, подростков-школьников тридцатых годов, — раскрывается глубокая связь трудовых и революционных традиций социалистической Москвы со славным историческим прошлым.

4702010200—215

Р ————— 130—86
083(02)—86

ББК 84.Р7

Владимир Петрович Рынкевич

СЕМЕНОВСКАЯ ЗАСТАВА

М, «Советский писатель», 1986, 400 стр
План выпуска 1986 г. № 130

Художник АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ

Редактор В. С. Рогов

Худож. редактор Е. Ф. Капустин

Техн. редактор Ю. Н. Чистякова

Корректоры С. З. Михайлина и А. В. Муравьева

ИБ № 5034

Сдано в набор 25.10.85. Подписано к печати 16.05.86. А 03426. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип № 1. Усл. печ. л. 21. Уч.-изд. л. 23,81. Тираж 100 000 экз. Заказ № 664. Цена 1 р. 60 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

**© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.**

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу,
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Пушкин



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В старину за речкой Яузой, на Введенских горах, стояла церковь Симеона Столпника, и притулившиеся внизу полтора десятка мужицких изб называли по имени здешнего святого селцом Семеновским.

Считают, что отсюда и произошло это знаменитое имя. Впрочем, есть и другие предположения...

В те времена выше по реке, на соседнем, самом высоком холме, громоздился Преображенский дворец, и в окрестных селах — Введенском, Преображенском, Семеновском — жила дворцовая челядь: сторожа, конюхи, плотники, портомойки, колесники, кузнецы и прочие. Жил там и некий Сережка Бухвостов, с пятнадцати лет оставшийся без отца и работавший на дворцовой конюшне. С годами узнали его как мужика горячего до работы, а также до баб и вина. Надо конюшню убрать — Сережка первым лопату хватает, кликают мужиков дров наколоть для дворцовых печей — он будто нарочно стоял здесь, ждал и уже машет колуном. И не то что радуется человек работе — нет: лицом сердит и ругается всюю по-русски, и видно, что не сладко ему, а едва закончил одно дело, положил, скажем, лопа-

ту — уже так глазами и рыщет: на что бы еще накинуться. Увидит: мешки с мукой таскают в дворцовые амбары, и спешит туда, подмигивает, покрикивает, на ладони поплевывает, примеривается и выбирает мешок поувесистее.

А в праздник, глядишь, найдут его пьяного под забором возле царева кабака, или скулу кому-нибудь своротит, или сам придет с заплывшим синяками лицом и тут же кинется поить лошадей, убирать навоз, таскать мешки с овсом.

Так бы и прожил Сергей Бухвостов свою жизнь между кабаком и конюшней, а может, и сгинул бы безвременно, прилежаша пития хмельного, или проломили бы ему голову из-за женок на майском гулянии в Семеновской роще, но судьба Сергею выпала иная...

II

Мы, дети Семеновской заставы тридцатых годов, ничего не знали ни о Бухвостове, ни о многом другом из истории своей земли, за что считал нас недоразвитыми и неполноценными и, наверное, презирал, а может быть, и жалел один странный человек, появившийся в нашей школе ранней весной тридцать девятого года.

После уроков мальчишек-семиклассников собрали в седьмом «В», и в класс вошел военный в необычной для того сапожно-гимнастерочного времени форме: синие брюки навыпуск со стремительно струящейся полоской красного канта и защитный френч, покроем напоминавший белых киноофицеров, в черных петлицах — кроваво-красный прямоугольник, шпала и золотистые артиллерийские эмблемы — «кресты» по нашим тогдашним понятиям. Такую форму ребята видели впервые, но внимательная тишина возникла в классе не из-за того, что все были потрясены кантом и френчем, а, скорее, потому, что весь облик этого человека, его манеры и движения гипнотизировали необыкновенно яркой выразительностью, как удивительное начало какого-то зрелища, обещающее не менее увлекательное продолжение. Природе требовалось долго экспериментировать на тысячах и миллионах обыкновенных наших лиц: нелепо-круглых, уныло-худощавых, больше ротых, крючконосых, криворотых, длинноносых, несимметричных, лопоухих и разных прочих, чтобы создать наконец такой шедевр пропорциональности и обаяния. Сказать, что он поражал красотой, было бы мало и неверно: беспабашные голубоглазые блондины того вре-

мени казались красивее, но это лицо выражало спокойную уверенность в своей правильности, в своем абсолютном соответствии некоему высшему образцу.

Темные блестящие глаза его, слегка выпуклые, смотрели бесстрастно-прямо, без суетливых попыток оглядеть сидящих в кассе, точно он давно уже все знает и не ожидает увидеть что-либо новое и интересное. Пожалуй, единственно, что у него было примелькавшимся, обычным,— это прическа маслянисто-черных волос: круто вверх и назад. Она называлась «политзачес», потому что на всех портретах, висевших в официальных местах и поднимавшихся над колоннами праздничных демонстраций, в те годы изображался человек с такой прической.

Военный не сел за учительский стол, а выдвинул стул на свободное пространство у доски и уселся в изысканно-свободной позе, часто встречавшейся на экране и на сцене, но почти забытой в быту: откинулся на спинку и положил погу на ногу, вытянув далеко вперед лакированную штиблету и обнажив клетчатый шелковый носок.

Когда он начал говорить, первые слова никто не понял, как не разбирают слов при пении великой артистки, наслаждаясь одними лишь звуками. Его голос был именно артистичен: с уверенно-повелительным растягиванием гласных, с мягким рассыпчатым перетопанием и с той особенной металлической звонкостью, которая отличает профессионального командира.

Перед ним сидели ребята, которые должны были окончить школу в сорок втором году, и он сказал им, что для них нет более прекрасной судьбы, чем стать артиллерийскими командирами Красной Армии. Он говорил: «Полтава... Бородино... Царицын... Петр... Суворов... Кутузов... — и эти имена звучали у него не учительски напыщенно, а как у человека, знающего и о Петре, и о Бородинском сражении, и о Суворове что-то важное лично для него, заставляющее каждый раз вспоминать это свое личное и ощущать волнение, выражающееся в интонации, разной для каждого слова. Так истинный любитель поэзии произносит: «Есенин... Пушкин... Блок...»

Наверное, каждый семиклассник в те минуты не сомневался в том, что высшая цель жизни — это стать таким же, как этот человек: уверенным, красивым, спокойным и, конечно, носить такую же форму. Однако в специальную артиллерийскую школу, о которой говорил военный, принимали лишь тех, кто заканчивал седьмой класс без троек,

да и то выбирали лучших, и заинтересованных оказалось немного — процентов двадцать. Если же учесть количество средних школ в Москве в то время и соотнести его с имевшимися несколькими спецшколами, то окажется, что в среднем из каждой школы мог поступить лишь один семиклассник. Но они этого не знали, и после беседы человек пятнадцать окружили военного в коридоре. Долговязые, беспокойно-суетливые ребята в мятых брюках, у кого не в меру узких, у кого неприлично коротких, в уныло-серых или тускло-темных пиджаках не по росту, в синих и коричневых лыжных куртках; лишь отдельные благополучные единицы были одеты прилично: у Игоря Круткова, сына командира-танкиста, недавно вернувшегося с орденом Красного Знамени с выполнения особого задания (все знали, что он был в Испании), — темно-синий бостоновый костюм; Гришка Белов, отец которого пел в Краснознаменном ансамбле песни и пляски и ездил в Париж, был в коричневой вельветовой курточке на молнии, оказавшейся вскоре всесоюзной модой, всеэкранно утвержденной артистом Алейниковым. И Игорь, и Гришка уже привыкли к своей исключительности и даже здесь расталкивали других локтями, не прекращая вечного соперничества между собой. Бестолковый Белов лез с бестолковыми же вопросами и объяснениями: он «не знал» и поэтому нахватал троек.

— Тебя надо было еще в первом классе предупредить, — язвил Игорь.

— А чего? — серьезно возмущался Белов. — Это же несправедливо. Мы же не знали...

— У вас впереди целая четверть, — отвечал военный. — Прилагайте усилия. Человек начинается с усилий.

Я хорошо помню тот день с торжественным светом мартовского солнца и синим глубоким холодом земли, лишившейся снега и опустившейся от нашего третьего этажа далеко ниже, чем была совсем недавно, когда перед входом в школу, на обнесенной барьерчиком площадке с выпуклой клумбой, искрились сугробы. Не принадлежа еще к высокой касте семиклассников, я сначала подслушивал у двери, а теперь стоял в стороне, облокотившись о жесткий серый с белыми зернами подоконник, и мечтал, как через два года обязательно поступлю в спецшколу, боялся, что опоздаю, и мучительно страдал от бессилия что-либо сделать немедленно. Уже тогда я почувствовал роковую черту времени, отделявшую меня и моих ровесников от этих ребят, которым суждено было стать сгоревшими, искалеченными и

лишь в случае особой удачи — просто участниками. Не лет, а целых эпох прошло уже много с тех тридцатых, и большинство семиклассников тридцать девятого года не дожили до наших дней, но и теперь я ощущаю себя младшим по отношению к тем грубым, плохо одетым мальчишкам, склоняю голову перед ними и не радуюсь тому, что избежал их участи, а завидую им, ибо хоть я посетил сей мир в роковые минуты, но стократ блажен тот, кто был главным действующим лицом этих минут. Мне не удалось быть их соратником, но я не могу и уйти от них: они всегда в моих мыслях и в моей памяти. Потому я и пишу о них то, что помню и знаю, и пытаюсь представить то, о чем знаю плохо или не знаю совсем, и написать и об этом.

В тот мартовский день тридцать девятого года с нашими семиклассниками беседовал представитель командования специальной артиллерийской школы Владимир Николаевич Ростиславлев. Он достал папиросу, щелкнув серебряным портсигаром, но не закурил, а лишь постучал мундштуком о крышку портсигара и взял папиросу в рот, смяв ее двумя вытянутыми пальцами и зубами. Его ответы ребятам были холодны и кратки: он не собирался ни заигрывать со школьниками, как это делали учителя, ни вступать с ними в искреннюю дружбу. Надо сказать, что Семеновская застава всегда отличалась недоверчивым презрением ко всему непонятному, отделяющемуся от нее или тем более пытающемуся возвыситься над ней, и для ребят почти не существовало вещей, к которым они относились бы с уважением. Все хорошие песни того времени были изуродованы пародиями; о женщинах, о любви говорили только с грязным цинизмом, зло и жестоко высмеивали любую попытку дружеских отношений с девочками, изощрялись в рассказывании анекдотов известного жанра, но, становясь постарше, в девярых-десятих классах, сами влюблялись отчаянно и беззаветно. Одному напыщенному старичку, пришедшему на пионерский сбор, чтобы рассказать о своих героических подвигах, припечатали во всю спину «фашистский знак» — так называли тогда гитлеровскую свастику. И у Ростиславлева они нетерпеливо выискивали что-нибудь смешное, низкое, уродливое, но такого в нем не было. Даже непривычная изысканность речи и манер, выглядевшая бы у другого наигранной попой, казалась такой же естественной, как, например, манера Игоря Круткова вскидывать голову вверх и влево, заставляя свою русую прическу лечь так же, как у знаменитого футболиста Григория Федотова.

О программе спецшколы Ростиславлев сказал: «Обыкновенная с добавлением военных дисциплин». Мне запомнилось особенное звучание слова «обыкновенная»: было в нем и по-французски носовое, и по-московски певучее, и что-то похожее на скрытый зевок. Через некоторое время мне удалось попасть на знаменитый мхатовский спектакль «Анна Каренина»: двадцать пять сцен на фоне голубого бархата, печальные трубы духового оркестра в эпизоде ипподрома, Каренин и Анна шли в лучах электрического заката, а в финале — сатанинское трехглазие паровоза, надвигающегося из глубины сцены на Аллу Тарасову, падающую на рельсы. В предпоследней картине на сцену слева вышел Прудкин, игравший Вронского. С длинной дымящейся сигарой отдыхающе-медленно подошел он к Анне, глядевшей на него снизу вверх с выражением униженной мольбы и страсти. Его расслабленно-медлительные движения, равнодушно-пресыщенный взгляд, едва заметное потягивание плеч под небрежно расстегнутым сюртуком точнее любых слов объясняли, что он только что с роскошного дружеского обеда.

«Что ж, весело было?» — спросила Анна, и голос ее натянуто дрожал: вот-вот порвется в слезах и упреках — из-за этой манеры игры недоброжелатели называли Тарасову истеричкой.

«Как обыкновенно...»

Услышав это «обыкновенно» Прудкина, я сразу вспомнил коридор третьего этажа нашей школы и напротив седьмого «В», у окна с мартовским солнцем, группу ребят вокруг военного с незажженной папиросой во рту.

— А у меня в первой четверти были двойки, — сказал Игорь, вскинул голову, поправляя прическу, и приглашающе ухмыльнулся, ожидая сочувственного понимания, с которым у нас почему-то относятся ко всякой человеческой несостоятельности от плохой учебы в школе до запойного пьянства. — Сейчас без троек запросто учусь. Наверное, мне можно заявление подавать?

— У тебя же по истории тройка, — сказал Белов.

— Молчи, трепло! В четверти я исправлю.

— Чего молчи? Чего трепло?..

— Я бы тебя не взял, — сказал Ростиславлев. — Я бы тебя не принял в спецшколу.

Он не был снисходительным к человеческим слабостям.

— Почему? Я же без троек закончу.

— В бою, как и в жизни, все надо делать правильно

сразу. Я бы тебя не принял, а, впрочем, заявление можешь подавать.

У Игоря было странное для мальчишки свойство: в некоторых критических случаях он густо краснел, и теперь это свойство проявилось в полной мере: не только щеки, но и уши и шея налились малиновым румянцем.

Кроме меня в коридоре отдельно от ребят, окруживших Ростиславлева, стоял еще один семиклассник — Владик Неглинский. Когда-то, еще с дошкольных времен, они с Игорем Крутковым были неразлучными друзьями и жили в одном доме, но потом Владик куда-то переехал, и дружба постепенно охладела. Отец Неглинского тоже как будто уехал в Испанию, но почему-то до сих пор не вернулся, и, наверное, поэтому Владик был всегда грустен и молчалив. Может быть, поэтому и одет он был плохо: рядом с бостонным костюмом Игоря плохо смотрелись его короткие узкие брюки «дудочки», синяя лыжная куртка, застиранная и выцветшая, покрытая мягкой сизой сыпью расползающейся ткани.

Нам в то время нравились ребята общительные, шумные, гоняющие в футбол дотемна и презирающие геометрию и стихи наизусть, но во Владике привлекала мягкая задумчивость лица и больших карих глаз, необычная молчаливость и осторожность в движениях, странные среди школьной дикой суеты. К таким, как он, сразу возникало естественное доверие: никогда ничего плохого он тебе не сделает. Похожих на него ребят постарше, наверное, уже студентов, можно было встретить на вечерних сеансах в кинотеатре «Родина» на Семеновской с красивыми девушками в беретах набекрень.

Когда все расходились, Владик пропустил ребят, отвернувшись к окну, наверное, для того, чтобы не встретиться с Игорем, потом догнал Ростиславлева на лестничной площадке. Тот остановился, так еще и не закулив папиросу, и слушал его с той же холодной внимательностью.

— Я учусь почти на одни пятерки, — торопливо и робко говорил Владик, опуская взгляд и краснея. — Вы знаете, я тоже всегда мечтал о службе в армии... И вообще... Я хотел спросить: наверное, в этой школе есть общежитие для учеников?

При этом он все время двигал руками, то перекладывая портфель из одной руки в другую, то убирая его за спину, то снова вытаскивая вперед. Ростиславлев молча смотрел на беспокойные его руки, и Владик, заметив этот взгляд, за-

молчал и застыл с портфелем в левой руке, некрасиво подняв правое плечо.

— И вы хотите поступить к нам в спецшколу?

— Да! Если бы можно было поступить немедленно! Прямо сейчас. Там, наверное, есть общежитие?

— В школе имеется интернат для учащихся, но почему такая поспешность? Может быть, ваши намерения связаны не с желанием посвятить жизнь военной службе, а с какими-либо другими обстоятельствами?

— Обстоятельства, конечно, есть, но я действительно всегда стремился и мечтал... Я изучил... изучаю военную историю... Наполеоновские войны, о Петре, о царской армии.

— Не о царской, а о русской армии! Да! О русской армии. Я думаю, что вам не стоит терять год учебы.

И Ростиславлев начал спускаться по лестнице. Если бы эта встреча произошла несколько лет назад, то у Владимира Николаевича ни на секунду не задержался бы в памяти темноглазый, растерянный подросток, но жизнь не устает давать человеку все новые и новые уроки, и ему лишь совсем недавно, будучи уже сорокалетним, пришлось открыть для себя, что мужчине мало бесстрашия перед лицом смерти и истины для того, чтобы выстоять против жестокости мира. Оказалось, что даже ему не выжить на земле без простой человеческой доброты, и, вспомнив об этом, Ростиславлев замедлил шаги и окликнул:

— Впрочем, подождите, юноша...

Человек, стремящийся жить разумно, часто совершает поступки, не имея к ним никакой внутренней потребности и даже вопреки своим желаниям, исходя лишь из умозрительных построений, и почти всегда в этих случаях получается что-нибудь неожиданное, совсем не похожее на то, что предполагалось. Из-за этого некоторые потом раскаиваются в таких поступках, считая их результаты своими поражениями, другие — удовлетворяются теми же результатами и видят в них подтверждение правильности своих действий: все зависит от точки зрения на хорошее и на дурное, а этих точек зрения столько же, сколько людей на земле. Утверждать можно лишь одно. Никто никогда не узнает правильный ответ: надо ли следовать лишь велениям сердца или преодолевать их во имя задуманных целей и принципов? Верно ли поступает тот, кто решил, скажем, любить собак, и подбирает первую попавшуюся грязную уродливую дворнягу, вызывающую у него отвращение, или тот, кто, любя собак, выберет все же милого приятного чистенького

ценка? Никто никогда не узнает, как должен правильно поступать человек, ибо все наши расчеты подобны размышлениям слепого, купающегося в море, и искренне верящего, что ему удалось познать законы движения волн, угадывающего момент, когда его поднимет на очередной гребень, и удовлетворенно ожидающего следующей волны, но совершенно не представляющего, что ветерок чуть-чуть изменился и следующая волна бросит его на скалу и разобьет насмерть.

И Ростиславлев мог потом раскаиваться в том, что остановился и пошел с Владиком, а мог и посчитать это своей удачей.

На улице он спросил:

— Где ты живешь? Может быть, нам по дороге?

И снова Владик замялся, заперничал, опустил глаза, и портфель его заходил в разные стороны.

— Я вообще жил здесь, но мне теперь надо в другую сторону... Мы вообще-то переехали...

Ему почему-то было ужасно стыдно признаться, что живет он не как все люди — вблизи школы, а настолько далеко, что домой надо ехать на трамвае и автобусе.

— Мы переехали, — объяснял он упавшим голосом, буд-то признаваясь в совершенном преступлении, — и я не захотел переходить в другую школу.

— Может быть, ты все-таки скажешь, в какую сторону тебе идти?

— Я живу на Соколиной горе, — уныло сказал Владик. — От Семеновской я езжу на автобусе.

— Соколиная гора! — повторил Ростиславлев с той мечтательно-радостной интонацией, с какой произносят пазвания мест знакомых и приятных, а по мнению Владика, на Соколиной горе ничего веселого и приятного быть не могло. — Ну что ж. Мы пройдемся с тобой до Соколиной горы, и ты мне все расскажешь.

— А меня могут принять в школу прямо сейчас? Сегодня?

— Почему же так срочно? Почему именно сегодня?

— Потому что я больше не вернусь домой...

III

У Владика в этот день с утра стоял в глазах режущий серый туман, и жизнь представлялась настолько кошмарно-безвыходной, что он не мог даже думать о каких-то поступ-

ках или решениях и пытался найти успокоение в фантастических мечтах. Представлялось, например, что возвращается исчезнувший отец и Владик прижимается лицом к его груди. У отца всегда были шелковые рубашки, белые и желтые, и от него пахло каким-то особым одеколоном. Папа успокаивающе проведет пальцами по его жестким темным волосам и отвезет в тихий дом, где в больших чистых комнатах стоят шкафы со старыми книгами, пианино, сверкающее черным лаком в уютном зеленоватом сумраке. И можно будет долго сидеть за инструментом и играть Баха и Чайковского, а папа приляжет на диван и зашелестит страницами любимой книги о гражданской войне... На уроке литературы учительница, молодая блондинка в очках, влюбленная в поэзию, вызвала его и спросила о языке Жуковского. «Язык у него был длинный», — ответил Владик в духе семановского пигилизма, снискав одобрение ребят, а учительница смешалась, заморгала и со слезами в голосе, совсем по-девчоночьи, возмутилась: «Как не стыдно?..» В другое время он бы такое не сказал: а сегодня окружающий мир был ему враждебен, и Владик не воспринимал его и прятался в фантазии. Он придумывал, как в класс входит директор с озабоченным лицом и, прервав урок, сообщает робко, что ученика Неглинского вызывают в Кремль, к Сталину... Подразумевая такое состояние, Чехов писал, что у русского человека одна надежда: выиграть двести тысяч. И для Владика эти мечты, эти двести тысяч, вдруг воплотились в реально человека, одетом в голубую шинель с блестящими пуговицами и в фуражку с черным артиллерийским околышем.

Владик рассказал ему, что, после того как не стало отца, им с матерью пришлось переехать из настоящего пятиэтажного дома в барак на Соколиную гору. Туда к ним стал ходить один знакомый, тоже какой-то военный, но почему-то не носящий форму. Трудно объяснить чувство, которое испытывал Владик к этому человеку. Здесь не было никакой примитивной книжной ненависти — наоборот: приход Павла Тимофеевича оживлял унылые вечера в барачной комнатухе, где согреться можно было лишь в лучах лампы-рефлектора, а из-за тонких дощатых стен отчетливо слышалась нецензурная брань под гармошку. Павел Тимофеевич приносил бутылку вина и клюквенное варенье «весь лес», в комнате становилось весело, и Владик говорил с гостем о школьных делах, о сравнительных достоинствах артистов Щукина и Штрауха в роли Ленина и о вероятности захвата

Чехословакии Гитлером. Но все время, пока этот человек находился у них, Владик ощущал странный судорожный озноб, сотрясавший все его тело, даже как будто и внутренности, но почему-то совершенно незаметный для глаз. Эта внутренняя дрожь возникала при одном воспоминании о Павле Тимофеевиче. С матерью они о нем не говорили, а если приходилось в разговоре упоминать, то сын и мать в этот момент не смотрели друг на друга.

Взрыв произошел, когда завели патефон и поставили старую пластинку с черной наклейкой, на которой была изображена белая ушастая собака, слушающая граммофон. Прорываясь сквозь шипение иглы, нагло-бесшабашный голос Петра Лещенко убеждал: «Проходят дни и годы, и бегут века, уходят вдаль народы и тяжких мук невзгоды, но неизменно вечно лишь одно любви вино...»

Эту пластинку привез из-за границы друг отца по гражданской войне, и в одно чудесное светлое утро отец сидел за столом в белой шелковой рубашке и, задержав нож над тарелкой кузнецовского сервиза — розы и зелень по краям, сказал: «Мы ходили с ним на пулеметы. Ты, сынок, никогда не слышал проклятый звук пулемета, направленного на тебя...»

«Выключи! — закричал Владик матери. — Выключи! Ты!..» Павел Тимофеевич погасил вспышку: сразу снял пластинку и сказал примиряюще, как не о стоящем внимания пустяке: «Не хочет человек слушать — не надо. Давайте-ка лучше чайку свежего заварим, Екатерина Антоновна...» Он умел ладить с людьми, если хотел этого и если не был сильно пьян.

А однажды Владiku дали много денег — и на кино, и на мороженое, и, посмотрев фильм «Профессор Мамлок», он вернулся домой, взволнованный историей страданий талантливого врача, преследуемого озверевшими фашистами за то, что в его жилах течет будто бы другая кровь, и увидел брошенное на диване одеяло и гнусно смятые подушки. Матери не было дома, а когда она вернулась и пыталась заговорить с сыном: «Ты поел? Понравилась картина?» — он дико закричал на нее: «Не твое дело! Отстань от меня! Дура!» Мать заплакала, причитая: «За что только ты меня мучаешь?» — а он схватил пальто и ушел, хлопнув дверью так, что с досок стены посыпались ломаные пластины краски.

Недавно Владик заметил, что и у Павла Тимофеевича возникает к нему какое-то чувство нервной взволнованно-

сти, словно он тоже испытывает внутреннюю дрожь. Владик заметил это в водном бассейне на Мочальской — старые лефортовские жители должны помнить этот бассейн, первый в Москве. У Павла Тимофеевича был туда пропуск, и он пригласил Владика. Перед входом в бассейн полагалось, раздевшись донага, пройти душ, и Владик и Павел Тимофеевич голые стояли рядом, и чувствовалось странное смущение Павла Тимофеевича: он отворачивался, молчал, и его дыхание было смущенно-неровным.

Вчера был выходной день, Павел Тимофеевич пришел с утра, и они втроем отправились гулять. Владик любил прогулки: он словно вылезал из грязной ямы, куда его бросили за какую-то неизвестную провинность, и на некоторое время оказывался на настоящей чистой земле и становился настоящим полноправным человеком, ничем не отличающимся от тех, что торопливыми толпами валили по тротуарам, стояли в очередях за мясом или молча читали в застекленных витринах «Правду» с докладом Сталина на XVIII съезде партии. Тем более приятно было идти с мамой и держащим ее под руку представительным мужчиной: никто же не знает, что это не отец и что мальчика непрерывно трясет в нервном ознобе. Павел Тимофеевич с утра был возбужден, и из наивно замаскированного разговора с матерью («Опять она?» — «Плевал я на нее и на всех с высоты колокольни». — «Она знает?» — «Не интересуюсь».) Владик догадывался, что Павел Тимофеевич опять поссорился с женой, а мама, как обычно, беспокоилась, не узнала ли жена об ее существовании. От этих догадок еще сильнее сотрясала Владика невидимая дрожь.

Прогулка была недолгой: до комбината питания на Меревском проезде, где на третьем этаже работал ресторан. Владик с радостью впитывал ресторанный экзотизм и заготавливал в памяти притворно-небрежные фразы для завтрашних рассказов в школе, например, о том, что подавали «какую-то сборную солянку, и, представляешь, там был даже кусочек лимона...». Павел Тимофеевич сначала держался за столом с шумной добротой хлебосольного хозяина и вообще казался приятным человеком: высокий, прямой, широколицый, светлоглазый. От такого всегда ждешь чего-то интересного, значительного, даже, может быть, великого, и само это ожидание приподнимает человека в твоих глазах, и ты уже забываешь, что ценишь его за ожидаемые хорошие поступки, так сказать — авансом, и начинаешь думать, что любишь его за какие-то уже имеющиеся достоинства. Часто

человек так ничего хорошего и не совершает, но тем не менее прочно считается молодцом: буквально — за красивые глаза. Владик тоже смотрел на Павла Тимофеевича с ожиданием необычайного, как на знаменитого артиста, появившегося на сцене и готовящегося к какому-то новому потрясающему номеру. Однако вышел артист уже давно, а номер все не начинался. Вчерашняя сцена, правда, оказалась потрясающей, но совсем в другом смысле.

Павел Тимофеевич называл его Владькой, наливал рюмку портвейна, невзирая на ворчание матери, заказывал блюдо со странным названием «разбрат» и шутил, подмигивая: «Займемся, Владьк, развратом».

Заговорили о Чапаеве, пересчитывая, сколько раз смотрели знаменитый фильм, и Павел Тимофеевич немедленно вспомнил: «Они ему тоже в академии не дали учиться, как и мне. Они посмели выгнать из академии величайшего народного полководца! Экзамены устраивали! Мы свои экзамены в семнадцатом году сдавали! Вот здесь, неподалеку: в Введенском народном доме и в кадетских корпусах. Юнкеры били, да вот не добились. Говорил я тогда, что всех надо под пулемет. Мы свои экзамены там сдавали, а где они тогда были?..»

Матери удалось кое-как утихомирить его за столом: он робел перед нею, лепетал извинения и пытался целовать руки. Пытался, но получалось плохо: не научился он руки целовать. Однако на улице снова начал шуметь.

Мать не разрешила ему ехать домой в таком виде и оставила у них в комнате, на своей кровати, думая, что он к вечеру проспит. Но проснулся Павел Тимофеевич лишь поздно вечером, еще не протрезвев и с сильной головной болью. Он метался на кровати, то вскакивая, то снова падая на подушки, стонал, грязно ругался и выкрикивал то нечто нечленораздельное и непонятное, то, наоборот, слишком понятное.

«Где этот твой Неглинский? — кричал он вдруг совершенно понятно. — Катька! Где он? Поддай его сюда! Я его закатаю...»

«Пусть он убирается отсюда! — кричал Владик. — Он не смеет о папе!..»

«Они Чапаеву и мне учиться не дали! — продолжал Павел Тимофеевич. — Они нас ненавидят! Подайте мне этого Неглинского! Я его под девятую землю загоню!..»

Мать хваталась за голову, плакала, поила Павла Тимофеевича валерьянкой, успокаивала Владика: «Он же

пьяный! Не слушай его». Она прикладывала к голове Павла Тимофеевича полотенце, тот замолкал и успокаивался, но через некоторое время снова просыпался и кричал: «Катя! Где твой Неглинский?..» Владик забился в истерических рыданиях, слезы облегчили его, и он заснул.

Утром он услышал, как уходит Павел Тимофеевич, и, притворяясь спящим, незаметно приоткрывая глаза, увидел его черное пустое лицо. Мать выговаривала ему злобещим шепотом, отвечал ли он ей, Владик не понял — кажется, так и ушел молча и понуро. Владик смотрел ему вслед со страхом, и никогда еще не была его так сильно нервная дрожь, как в это утро.

Поднявшись, он сказал матери слова холодные и жестокие: «Этот гнусный хам больше никогда не придет сюда! Поняла? Ты!» Мама заплакала, забормотала, что ей тяжело одной и ее слезы вызвали к нем чувство мстительное и злобное. «Старая дура! — закричал на нее Владик. — Ненавижу тебя! Если он еще хоть раз придет сюда, меня ты больше не увидишь!»

С тех пор как не стало отца, матери часто приходилось плакать, и слезы ее были беспомощно-обреченными, щеки морщинисто провисали, а лоб становился непомерно большим. Она со стоном вздыхала, неподвижно глядя в одну точку, и слезы вяло стекали по ее синевато-бледному лицу, покрывающемуся темными пятнами. В эти минуты мать становилась совершенно непохожей не только на веселую смуглую молодую женщину в лиловом шелковом платье, ожидавшую гостей на встречу нового, тридцать седьмого года, но и на ту печально-строгую, похудевшую, но красивую, какой она бывала, когда приходил Павел Тимофеевич.

Ее лицо выражало теперь какое-то страшное равнодушие, мертвое и в то же время тупое и упрямое, и вместо жалости и сочувствия к ней у Владика возникала мерзкая, палачески-сладоэрастная жестокость. «Ревн, ревн, сумасшедшая дура, — говорил он ей. — Я тебя ненавижу! Уйду — и больше никогда не увидишь ты меня. Пропадай здесь со своим гнусным хамом! Нашла себе друга! Дура! Дай мне денег, и я уйду навсегда. Слышишь? Ты!» — «Возьми в сумочке», — сказала мать безжизненно-равнодушно, и Владика вдруг ошеломила догадка: она не боится его ухода! Он стал ей безразличен, а может быть, и ненавистен!

Эта мысль появилась впервые, и Владик был сильно смущен. Если бы мать билась в истерике, умоляя его не уходить, он бы, наверное, не вернулся домой. Может быть, и